

**анна
чухлебова**



**легкий
способ
завязать
с САТАНИЗМОМ**

18+

Содержит
недекорную
брань



Анна Сергеевна Чухлебова
Легкий способ
завязать с сатанизмом
Серия «Во весь голос»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70295752

Легкий способ завязать с сатанизмом : [рассказы] / Анна Чухлебова:

Городец; Москва; 2023

ISBN 978-5-907641-83-9

Аннотация

Перед вами не учебное пособие «знаю как», не научно-популярное исследование, хотя... почему же? Этот сборник – исследование, яркое, хлесткое, затягивающее в свои темные уголки былинным напевом языка. Объектом его оказываются обычные люди, а предметом – нешуточные шекспировские страсти, поглощающие этих людей. Вывод же не так предсказуем, как может показаться.

Содержание

Кровообращение	7
Невеста	17
Шпицберген	24
Астры	32
Коробка	39
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Анна Чухлебова

Легкий способ

завязать с сатанизмом

Спасибо маме и папе, ростовским подругам – Саше Марьяненко, Байковым, Марго Диденко и Кате ЛБК Яковлевой – за поддержку.

Писателям Любови Горницкой и Оле Брейшингер за плечо.

Братьям и сестрам из мастерской Захара Прилепина – за горящие сердца, а Алексею Колобродову за солдатское воспитание.

Гоше Майорову – за любовь. – Посвящения ты не прочтешь, но ты о нем знаешь.



ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Серия «Во весь голос»

25 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ

ГОРОДЕЦ

© Чухлебова А. С., 2023

© ИД «Городец», 2023

Кровообращение

Петров плевался жеваной бумагой. После уроков плакала маме, она только:

– Хватит ныть, Маша. Ты же учительница!

Когда рыдаешь в очках, на стеклах остаются грязные разводы. Три тряпочкой или не три – не поможет. Как не помог шугаринг выйти замуж. Подружка уговаривала:

– Попробуй, тигрицей себя почувствуешь!

А я вспомнила про драную козу. И ревела так, что все очки заляпала. Черт знает зачем – у меня и колгот тонких нет, все с начесом. Холодно потому что, мне всегда холодно. Мама говорит, это от отсутствия любви. Я уверена – виновато кровообращение. Смотрю на себя утром и прям вижу голубой отлив на лице. Крови во мне почти нет – зарежь, и еле пол-литровую банку нацедишь.

То ли дело петушки. Я беру раз в месяц черного на рынке. Завтра суббота, значит, пора. Выбрала крупного, пока сажала в мешок, все руки изодрал. Царапины вздулись под кожей, как сытые червяки. Отнесла домой, дырочек в мешке наделала – задохнется еще, пока к маме пойду.

– Маша, а что за царапины?

– Это я ручкой, чтоб успокоиться.

Мама только сёрбает чаем в ответ – ну нервная у меня работа, что поделаешь. Руками развожу – да ничего. А са-

ма только и думаю, как там мой петушок на кухне. Домой вернулась, а он бьется, мешок ворочается, надувается. Сил готовить нет, а есть хочется – нашла в морозилке куриные палочки. Нажарила по-быстрому, ну а что, с кетчупом очень даже. Кинула петушку одну, он поклевал.

– Ах ты каннибал!

Завязала мешок и ушла в комнату. Там у меня роман, недочитанный. Мечтала себе, мечтала, глядь на часы – полночь. Пора. Натянула колготы, юбку, жакет, петушка в охапку и вперед, на кладбище. Благо тут рядом, через дорогу. Сто лет назад холерных вповалку складывали, равенство, братство, вот назвали кладбище Братским. Теперь чужих не хоронят, только своих подселяют. Сирень цветет у забора, запах с ног валит – хорошо. Петушок только совсем сник. Ну я его за шею, шею ножом, голову прочь. Пустила на могилку побегать, а сама слова волшебные шепчу – для кровообращения, для бракосочетания, для деторождения. Отшептала, петушок и затих. Подумала, может, порчу на Петрова попробовать навести, совсем надоел. Присела на скамейку, гуглить начала – советуют разное, да мороки много. Фотку распечатывать некогда, землю с кладбища набрать некуда, кресты выстругивать я просто не умею. Ну его, Петрова этого. Да и грех. Он же ребенок. Сидеть холодно, пора идти помаленьку. Чуть не забыла кровью губы смазать, вот же Петров, и тут пакостит. Потянула петушка за лапу вверх, а ладонью обрубок шеи сжала. Течет, пузырится, еще теплая. Черканула по

губам и сразу жарко стало, а ведь я и в бане мерзну. За оградой смутно маячат фонари, с памятников смотрят бледнолицые и равнодушные покойники. Все-таки зря я тогда физику выбрала, мне бы литературу преподавать.

За лето зарезала трех петушков – Авраама, Василия, Дмитрия. Как-то не по-людски, когда домашние животные без имени. Авраам был смиренный, Василий пребольно клевался, Дмитрий особых примет не имел. Толку от резни никакого, правда. Согреваешься сразу, а наутро опять синева по коже. Женихов за плодотворное лето не прибавилось. Между Авраамом и Василием съездили с мамой в санаторий под Анапу. На танцы ходила – атас. Губы красные, платье атласное, каблук опасные. Стою в сторонке такая вся красивая, а танцевать и не танцую особо. Музыка орет дурацкая, да и больно спляшешь на каблуках. Подкатил один как-то:

– Девушка, а вы учительница?

Рядишься-рядишься, а мурло интеллигентское и в потемках видать. Но отбрехиваться не стала, пожалела честь мундира:

– Физику преподаю.

– Палочки, наверное, трете. Эбонитовые.

Я глаза как выпучу, а он пятится и через ступеньку кувырком. Упал пребольно, должно быть, ну я переступила каблучком аккурат перед его носом – и спать ушла. Наутро соседка маме рассказывала, что на танцах перелом был. И верно – единственный гипс на весь санаторий. В столовой чуть

компотом не поперхнулась, как увидела.

Дмитрия резала в конце августа, с ленцой так, больше от привычки, чем веры в волшебные силы. Петушок совсем вяленький, больной, что ли, не знаю. Луна белит верхушки деревьев, пахнет влажным сеном, кровь петушка по рукам как перчатка в облипку. Славная ночь, а ведь скоро опять работа. Петров, поди, вымахал за лето. Может, хоть потрогал кого на каникулах, влюбился, расстался. Страдай, фашист.

Первого сентября на небе хмуро. «Погуляли, и хватит», – сообщает природа. Мрачно натягиваю колготы с начесом, тру очки тряпочкой, вдаль на тучи гляжу. В школе цветов как на похоронах. Даже мне букетик кто-то сунул, вот спасибо. Сфоткать, соврать маме, что от мужчины? Смех только, пять гвоздичек. Нос сунула на линейку – восьмиклассницы пляшут в коротких юбочках, нет да и сверкнет кто трусами – самодеятельность. Танцуйте, курочки, пока яиц не нанесете.

Гляжу в школьный дворик, позевываю. Тут замечаю – мужчина. Лоб высокий и сам высокий. Борода там, очки. Глаза синие, как горизонт. Сдохнуть можно. Пялюсь украдкой, а гвоздички в руках дрожат-то, трясутся. Встречаемся взглядами, в груди теплом валит, как от только что забитого петушка. В романах написали бы: «Ее сердце билось, словно трепещущая пташка». Так все, конечно, и было, только не в романе живем, понимать надо.

– Григорий Викторович! С Марией Алексеевной познакомились уже? Какой быстрый! – слащаво визжит директриса,

и вечность застывает, как старый, засахарившийся мед.

Остальной день помню плохо. Кое-как провела пару уроков. Выудила зеркальце из-под собственного стула – броня моя с начесом. Выхожу, а за дверью, как там тебя, Григорий Викторович, прекрасный, словно все моря и океаны на свете. Шмыгаю мимо, понезаметнее, а он мне вслед:

– Мария Алексеевна!

Оборачиваюсь, а у самой колени от холода ноют. Жмурюсь, сглатываю. Эх, не так все нужно делать, не так.

– Вы ведь физику преподаете, да?

– Ага. Палочки тру. А вы?

– А я историк, палки у меня только копалки.

Хихикнула в ответ высокогато, сроду от себя таких звуков не слышала. Глядит, как корчусь, внимательно и ласково будто. Аж унылый беж стены синееет от его глаз.

– А давайте кофе выпьем, вы как, свободны?

Мямлю, а по телу кипяток шпарит. Уж не знаю, как понял, что согласна. Идем в кафе. Поспорил он, что ли, с кем, на слабо взяли? В учительской такие разве бабы? Нафуфыренные, есть и совсем молоденькие, только после университета. Кофе хоть облейся с этими фифами. Разговор держу, но рот словно сам говорит, мышцы лица сокращаются, язык во рту двигается. Мозг подвох ищет, летает где-то. Григорий Викторович улыбается меж тем благоднравно, так ему хорошо и приятно со мной якобы. Руку берет трепетно – а сам ледянее, чем я обычно бываю.

– Замерзли?

– Кровообращение такое. Лягушачье.

Домой проводил, ручки расцеловал на прощание, аж немели от холода ручки. На другой день шоколад с записочкой в ящик стола подложил: «Жду вас в два на стадионе, прекрасная Мария Алексеевна». На третий цветы были – да какие, каждая роза с полголовы. Вот сейчас бы сфоткать и маме отправить, но рука не поднимается, спугнешь счастье будто.

Учительская шепталась, конечно, какие шептаться – Григорий Викторович за мной ходит привязанный, как теленок. Они все рядятся, а он только за мной. Ну я много не позволяла, а он все равно жениться позвал спустя три недели. Целуешь его и будто мороженым по губам елозишь. Шептаться перестали, заговорили в голос. Дескать, вы посмотрите на него, глаза ввалились, бородой оброс, кофе донести до стола не может – руки трусятся, пол в липких лужах. Я и не видела ничего, не замечала. Потом иду как-то по школьному коридору, а навстречу он – левый ботинок черный, правый рыжий. «Попал историк в историю», – комментировали местные остряки. Я ему:

– Григорий Викторович, ничего не замечаете?

– Кроме красоты вашей, Мария Алексеевна, ничего.

И глядит на меня, а глаза уж не море. Выражение такое встречала лишь однажды, в краеведческом музее. Там чучело лося в натуральный рост вылупилось стекляшками через

мои ноздри напрямком в мозг. Вот и Григорий Викторович смотрит как мертвый лось. Главное, на меня только, ни на кого больше.

За неделю до свадьбы поплохел совсем, взял больничный. Директриса только охала на педсовете:

– Мужчины устроены тонко, понимать надо. Это на нас хоть паши.

Коллектив галдел:

– Извела мужика, ведьма.

Да какая я ведьма! Любовь просто. Сразу после педсовета набрала – не ответил. Пошла к нему, с апельсинами под дверью стояла – настоящая невеста. Не открыл. Заволновалась, родным бы его позвонить, да не знаю их номера. Мы и звать на свадьбу никого не планировали – нечего им. В дверь тарабаню со всех сил уже, кулаки посбивала, носки у туфель. Пакет разодрался, апельсины по лестничной клетке прыгают, катаются. Села, спиной облокотилась о дверь, подурнело. Нашла меня тетка-соседка, расспросила, охнула, позвонила куда надо. Вскрыли дверь – а он уже каменный.

Дальше темно, затем пластилиновый мультик – черная яма глотает красный кирпичик гроба, жует мечтательно, пузырится свежим черным холмом. Примеряет венки как ожерелья, пушится, хорохорится. Григорий Викторович непонимающе глядит с фото в рамке – что за парад, он же никого не приглашал. Вот и я не знаю, чего они все приперлись, милый.

В школе жалеть меня пытались, да только мне все рав-

но было. Вышла в понедельник, шесть уроков отвела, настроение такое, ничего себе. Глупости это, время величина простая, физическая. По пространству ходим туда-сюда и по времени пойдем, если захотим. Прям печенкой чувствовала, не навсегда это. Могила пожует-пожует и отдаст, наигравшись. Кладбище, кстати, мое было, любимое. Он ведь из местных, у них забронировано – центр города, элитные места. Только без парковки разве что. Располагайтесь комфортнее рядом с дедушкой и бабушкой. Вот вам и столик, конфетка в оберточке – фантики, чур, самовывозом.

Мама его звонить стала. Славная бабка, только уж грустная больно. В сорокет родила, может, и у меня еще не все потеряно. Про результаты вскрытия какие-то мутные рассказала – все в порядке, только мертвый разве что.

– Да неучи они. У меня Петров тоже в мед собирается, а сам путает нейроны с нейтронами.

Мама его только ревет в ответ, глупая. Поболтали раз, другой, третий, я и трубку брать перестала, поперек глотки эти глупости. И ведь не объяснишь ей, как на самом деле все обстоит, не поймет. Сама заскучала – сентябрь-октябрь, и без петушков заняться было чем. Теперь уж пора, только не в праздник этот бесовский, прости господи. Еще с дураками какими ночью столкнуться не хватало.

Новый петушок мне ладный достался, крупный. Пусть уж Леонид будет. Мешок под ним ходуном ходил, зверь так зверь. Ноябри у нас мягкие, но пакостные – вроде и плюс, а

продерет до костей. Еще и ночь, и морось, и туман. Ну а мне что, оденусь потеплее, не привередливая. За оградой деревья-скелетики, хотя в городе еще листья. На кладбище времена года отчего-то быстрее сменяются, осенью раньше все оседает, но и весной скорее веселеет. Может, покойники хором ворочаются и в землю сырую разряды дают. Григорий Викторович теперь тоже старается, за коллектив он всегда горой.

Раньше пугливая была, резала сразу за оградкой. Теперь у меня свои люди здесь, все схвачено. Прямо по главной аллее, у могилки ребенка налево – год жизни и десяток лет безвременья, сон стережет щекастый ангел на гравировке.

– Баю-баюшки-баю, – аж пропела ему, не удержалась.

Петушок взволновался, запрыгал, еле сдержала. Ну ладно, пришли уже. Григорий Викторович с креста глядит радостно – заскучал, милый, не ждал так поздно гостей. Впрочем, рассиживаться впустую холодно, дай лучше фокус покажу. Вынула нож из кармана, чиркнула веревку у горла мешка.

– Знакомьтесь, Леонид, – так и представила петушка жениху, ну а что.

Леонид высунул голову из мешка важно, как директор. Скучно глотку резать стало – сколько можно глотки резать? Надо бить в грудь, чтоб было красиво. Стиснула его между коленями прям в мешке,хватила ножом. Бьется, бешеный. Я еще и еще, кудахчет, орет, полошится. Промахнулась раз и по икре себя полоснула – нож острый, ткань брючины и кол-

готы под ней разошлись, у разреза мокреет, ветер. Леонид не сдается. Сатанею от боли, швыряю на землю нож, сворачиваю петуху шею голыми руками – ну тебя! Обмяк наконец. Фокусы она жениху показывает, как же. Стыд сплошной – как в глаза смотреть только? Положила ему петушка в голову – курятина тоже неплохо, раз с апельсинами не задалось. Ни крови не захотела, ничего – домой пора, с самой течет, не балуйся.

Бреду назад, от боли пошатывается, да и на душе, прямо скажем, погано. Позор такой, хоть в другой город переезжай. Прошла мимо ребеночка: «Ты глазки закрой, у тети вавка». Сам не умеешь, пусть ангелок закроет. С главной аллеи видно, как светят фонари за оградой, гирлянды на елочке. Город снова ждет, пусть раненую, но свою, родную. Всего метров двадцать, и жизнь вернется, шагаю легче, быстрее.

– Мария Алексеевна! Вы ножик забыли! – накатывает аллею эхом знакомый голос.

На местном рынке меня теперь полюбили, уступают в цене. Виданное ли дело – раз в неделю петуха беру. Несу в подарочек, режу голову – ученая стала, не выпендриваюсь. Петушок затихает, мы разговариваем час-другой. Кругом красота, луна, а то и снег ляжет, глазам аж больно от серебра. Романтика такая – где там романам. Может, и ребеночек скоро будет, кто знает. Только согреться, я никак не могу согреться. Что поделать – кровообращение такое.

Невеста

В белом облаке оборок, перебирая кружева тонкой рукой, источая смиренное счастье, сидит моя невеста. В подступающих сумерках иконописное лицо маячит, как далекая луна. Сглатывая песню, застрявшую в горле, я подхожу. Нос вровень с моим пупком, цепкие лапки расстегивают ремень, пуговицу, ширинку. Мягкие губы, мокрый язык, кожаные ребра нёба. Лукавый зрачок подглядывает за мной из-под опущенных ресниц, я сжимаю затылок, путаюсь в светлых волосах, кричу. Хочется плакать. Наклоняюсь для поцелуя, замираю, гляжу в глаза. Теперь моя очередь. Ныряю под юбку, отодвигаю трусики, нахожу то, что искал.

Пятнадцать лет назад это самое платье надевала другая белокурая девочка. Ее руки я просил на коленях. Наша свадьба с тамадой и икрой стоила мне двух лет кредита. Наш брак стоил мне счастья. Но иногда, сквозь невытую сковородку, побежденную гравитацией грудь, мое горькое пьянство, ее бесконечные, солью пропитанные упреки проступал ангел в белом. Когда она шумно сплевывала у ЗАГСа, затянувшись сигаретой, топорщилось острое, золотистым пушком покрытое плечо. Волочился, собирая осенние листья, подол. Пухлые губы серьезно шептали: «Люблю». Теперь шепчут другие. Бедра качаются, кто разберет, где чьи, злой долгий оргазм, поцелуй. Не глотаю, хватаю с пола бутылку

ликера, взбалтываю все вместе во рту, тонкой струйкой передаю новой невесте в рот. Глодает, улыбается, до кошмара любимая, моя.

Ликер в высокой бутылке стоял в серванте с самой свадьбы – все выжидали какой-то повод, не знаю там, новоселье. На рождение дочки открыть забыли, да и жене было нельзя. Вот и пьем теперь с Сашей за нашу любовь. Саше столько же лет, как моей бывшей жене, когда я начал за ней бегать.

В ремонтное дело Сашу привел отчим, Арсен. Не выдержал бестолковой болтанки после девятого класса. Пробовали вместе класть плитку, по худобе и слабости помощь от Саши была никакущей – два-три часа активной работы стоили ночного скулежа от боли в костях и мышцах. Арсен разозлился, сдал сварщикам, те напоили водкой в обед, Сашу отключило, приехала скорая. Неделю спустя Арсен притащил крошку ко мне – шпаклевать не варить, куда деваться, справится. Я давно торчал Арсену червонец, было стремно, согласился учить Сашу. Следующую неделю об этом жалел – с учетом времени и нервов отдать долг дешевле. Рукой Саша совершенно не владеет, к тому же левша. Смешивать составы тоже не получалось, зверек едва понимает, что такое пропорция. Переделывал, сердито сопя, в ответ только хлопанье глазками:

– Дядь Дань, не выгоняйте, меня папка прибьет.

Да я твоему папке всю двадцатку буду должен, если от тебя откажусь. Так и протаскались вдвоем месяц, пока у Саши

не стало получаться. А тут и заказ большой свалился в коттеджном поселке рядом с городом. Сделайте все за неделю, хоть ночуйте тут, вон матрас надувной, вода, газ, электричество. И мы ночевали, вечерами цедили пиво под звездами, закинув в него мяту с соседнего участка. Прыснул Сашин смешок: «мохито», – повеяло морем и хитином. Окрестная степь, покрытая наростами новых домов, гудела от ветра. Будто невзначай, шутки ради, Саша вытягивает свои длинные, свежим загаром занявшиеся ноги поверх моих ступней. От тяжести этой невесомой, со смертью жены забытой, от бесстыжих смешков, от всего скотства происходящего перед глазами пылали звезды. «Ну и шельму ты вырастил, Арсен», – только и успел подумать, как Саша уже передо мной на коленях. На рассвете повел в поле, кутал в курточку, целовал мурашками покрытый загривок.

Саше бы подружиться с Леной, моей дочкой. Ей тринадцать, копия матери, живет у тещи. Та исправно науськивает, как содрать с меня побольше, а я и плюнул давно – все ж с бабушкой лучше, чем у меня. Вкус у Лены изящный, думает в худучилище поступать, как я когда-то. Потом вышку на философском получил. Эх, порочная молодость гумани- тариев, сгинула, уплыла. Женился, ребенка сделал, пошел в шпаклевщики. Социально приемлемая наклонная. И только изредка, как испарина на лбу, пробежала тень настоящего – закатное пожарище, изящное запястье, смерть, чума.

Двенадцать лет прошли в этом тумане, тупел, заливал гла-

за. Когда-то тонкая моя Людмила грубела, вертлявая ее, живая манера занимать пространство собой превращалась в обглоданную временем кость. Вместо саламандры в руках оказалась дряхлеющая наседка, во всех своих бедах давно и крепко винившая меня. Невозможные вечера в одной квартире – жена смотрит мелодрамы в большой комнате, дочка притихла в маленькой, я допиваю второй литр пива на кухне. Прикидывая, выдержит ли дверца антресолей вес моего тела, отрубаясь под глупое телешоу. Просыпаюсь от тычка в бок, Людмила корчит мину – дело к полуночи, пора спать. Пыхчу на ней минут пять. Те глаза, что когда-то меня обожали, теперь изучают подтеки на потолке – год, два, три назад в ее день рождения нас залили соседи, все это время я обещаю заняться ремонтом в следующее воскресенье. По полгода кряду Людмила пропадает у тетки в Хабаровске. Тетка старая и обещает оставить трехкомнатную квартиру, на которую мы у себя на юге возьмем однушку для Лены. В эти полгода дочка ест дошираки, я стучусь к соседке, у которой муж в море. Когда он возвращается, приходит ко мне с ромом и байками про баб. Людмила возвращается только с упреками.

И черт ее дернул тявкать под руку, когда я рубил на куски, годные к заморозке, добрую баранью тушу. Все вышло как-то очень быстро, отточенно, скучно. Может, потому что человеческого в Людмиле и не осталось больше, у меня было чувство, что я всего лишь разорвал оболочку и выпустил дух.

Никакие ужасные убийства с особой жестокостью ко мне и не липли. Мир отреагировал сходно – на третий день объявили поиск, искали, не нашли. Полиции было как-то плевать, покопались для виду. Лена, конечно, плакала, ну и я плакал, куда ж без того. Там, где Людмила сейчас, она снова невеста и повторяет бессмертное и вечное «да». И никакое мясо с червями тут ни при чем, никак не возьму в толк, о чем вы все говорите.

Одному жилось веселее. В перерывах между заказами состряпал ремонт, таскал к себе девчонок, снова начал читать. Девчонки бывали нормальные, а бывали хорошие, кто-то бревно бревном, а завтрак зато, кто-то чуть раз, так деньги на брови давай. Бывали всякие, но вот невесты среди них я не встречал – не та стать, не та ухватка, все не то. Пробовал рисовать, как это. Невеста плыла перед глазами и скалилась рваным ртом – скомкал, поджег. Пока горело, дразнясь, мелькнула в пламени и изошлась на дым. Не будет у меня больше невесты, решил раз и навсегда. А тут Саша. Все эти гримаски, синеватость кожи, соленое, шепотом донских степей напоенное «шо» из ярко очерченного рта. Одна незадача – жених из меня такой, что жену грохнул.

Мужики бы содрали шкуру, конечно. И Арсен бы содрал, уж не знаю, было у них там что или нет, все равно бы содрал. Будто я виноват, что Саша меня любит. Я суховатый, квадратночелюстной, с мудрой морщиной на лбу. Заберись на колени и ткнись носом в шею – вот какой я. На другом за-

казе в том же поселке решили поиграть – проходилась валиком по ягодицам, затем прижимал Сашу к стене, чтобы получился отпечаток. То была детская. Обвел потом, растушевал, добавил фантазии – вышел слоненок. Заказчикам даже понравилось, халява.

Впрочем, медовый месяц наш тлел и дурнел, по народной мудрости – подпорченный ложкой дегтя. Саше нужны деньги, а впахивать, разумеется, лень. Канюченье в ушко, чтоб дал долю побольше, «Данечка, хочу кроссовочки» – и утюги стоимостью как моя пьянкой побитая печень. Изо всех сил смотрел через мутную рябь в толщу счастья, увеличивал долю, покупал кроссовочки, сгребал в охапку, целовал прохладные плечи до слез, пока однажды не услышал подернутое скорбной ухмылкой, усталое, бабье – «нищета заела».

Дальше молча смотрел, как счастье уходит сквозь пальцы. Как Саша глядит в потолок, вместо того чтобы расширяющимися зрачками впиваться куда-то в дно моего черепа. Как откуда ни возьмись появляется айфон: «Ой, да бабушка подарила». Невыходы на смену безо всякого предупреждения, внезапно заболевшая голова, зуб, нога. Кому ты брешешь, любовь моя, а главное, зачем – чтоб мучить меня только? Стало невыносимо. В одно из Сашиних появлений, всегда ощущавшихся в теле, будто в космической тьме включили свет божий, я не выдержал. Саша опять кривляется в свадебном платье моей жены. Рост, ширина плеч, похабная манера оттопыривать мизинец, затягиваясь сигаретой, – точь-в-точь

как потерянный ребенок Людмилы.

Ударил свирепо, взаправду. Невеста корчилась, рыдала, под глазом синело, из разбитой губы текла кровь. Не пытается бежать, звать на помощь, бить в ответ. Толком даже не закрывается – чует вину, чмо. Вместо лица перед глазами стояло свиное рыло, из светлых волос пробивались бараньи рога. Когда я оторвал тело от земли, ухватившись за шею, об пол слабо зацокали начищенные копытца. Красная вспышка – и тишина. Я лежу, уткнувшись в подол платья, а Сашина окровавленная, стремительно теряющая тепло рука обнимает меня.

Следакам так и сказал: ребята, черти. Жена моя бывшая, трупешник этот. Не знаю, чего они за мной бегают. Рядятся в невесту, вынимают душу. Экспертизы признают меня вменяемым, следаки гогочут, мол, симулянт.

Хорошо им смеяться, когда черта в глаза не видели. Незадолго до суда теща привела Лену – может, квартиру мою хотели, кто знает. Дочка совсем большая, смотрит на меня со скукой, мнет челюстями жвачку, к худым щекам липнет розовый пузырь. Я валюсь на пол и кричу – это белое облако оборок ей к лицу, как никому прежде.

Шпицберген

На две комнаты четверо взрослых – математика страдания. Ждали квартиру от бабушки мужа, а пока жили у моих родителей. Бабушке здоровья желали, не изверги же. Крепились в двушке, тесноте, шуме. Бегали в туалет по очереди, зажав носы. Обляпывали жиром печку. Только соберешься помыть – мать уже оттирает, глаза под лоб закатывает. В воскресенье утром хорошо, никого нет. Начинаешь с мужем ласкаться, только распался – и вот скрипит входная дверь, шелестят пакеты из магазина. Родители весело переругиваются друг с другом, мандарины, черт бы их побрал, не те. Муж в потолок глядит, не на меня.

– А внуки когда? – отец, бывает, не выдержит, да и спросит.

– Куда их тут, – только руками разведу.

И в общем, неплохо жили, даже умудрялись откладывать что-то. На ремонт или на квартиру побольше, если бабкину продадим. Только случилась с моим Лёшей беда – все стало скучно, серо, не так. По спине глажу, утешаю, как сильно люблю, рассказываю – ничего не помогает. Лёше бы на Шпицберген, чтоб море пенное билось о скалы, ветер до мяса пробирал. Чтоб мужики кругом, а лучше – война. Убьешь кого, и полной грудью сразу, сердце рвется, за правду страдает, за истину боль сеет. А кругом офис посредственный,

продажи какие-то непонятные. Бабы надушенные ногтями по клавиатуре цокают. Домой вернешься – теща от плиты жёну половником гоняет, за неправильные борщи бранит. Жёна потом печалится, да где ей, глупой. Все не так стало Лёше, все не так.

С работы Лёшу попросили, несправедливо, под самый Новый год. Гирлянды сверкают бесстыжие, призывные – хоть вешайся.

– Ну ничего, найдешь что-нибудь после праздников. Утрясем.

– И будет все то же самое. Не мое это – в офисе торчать.

– А что твое?

Молчит в ответ, только рукой махнул. Что ему сделаешь. Понятное дело, тошно ерундой торговать. Отоспался с месяц, потом начал великие планы строить. У него ведь чувство прекрасного и дух мятежный, работа нужна какая-то особая, творческая. На остаток сбережений купил дорогой фотоаппарат, на курсы пошел. Девиц в студию водил снимать, те носочек тянули, чтобы ноги длиннее казались. Листаешь фотки, работу фотографа хвалишь, спросишь невзначай:

– Заплатили чего?

Посмотрит со значением, чуть губы скривит, отвернется. Ходит потом надутый – оскорбили честь казачью.

Пару месяцев помотался и забросил. С одной стороны, неплохо, хоть девицы написывать перестали. С другой – гля-

нешь на пыльную шапку на фотоаппарате, и встанут комом в горле пара зарплат, что на покупку ушли. Вернешься вечером с работы, а Лёша у окна сидит, чахнет. Тряхнет головой, чтобы ступор скинуть, и плетется на стол накрывать. И так больше года.

Как-то зашла, а он совсем никакой, в глазах боль, будто по живому режут.

– Ты не видела, в подъезде кота не было? В коробке под почтовыми ящиками.

– Да не было вроде. Мимо прошла, не заметила.

Сорвался с места, только дверь хлопнула. Ринулась за ним, высунулась на лестничную клетку, смотрю – Лёша на коленях над коробкой склонился. Из коробки меховая морда глядит.

– Я еще днем его нашел. Перепуганный был, не знал, куда деваться. Думал, может, уличный забежал в подъезд, понес к местной стайке. Те обнюхали и зашипели, не приняли. Вернул назад, он залез в коробку, так и сидит.

Подошла ближе – хороший кот, пушистый, полосатый. Только усы вниз, глаза грустные. Мы с Лёшей давно кота хотели, но куда его, сами еле помещаемся. Это мама так говорила. И что, если притащим, она нас выставит. Или сама уйдет, тут уж по настроению.

– Выбросила сволочь какая? Взрослый ведь, чистый, точно чей-то был.

Лёша проморгался, шмыгнул носом, спросил сипловато:

– Возьмем, может?

– Нельзя, дорогой, ты ж слышал маму. Давай ему лучше хозяев найдем. Позвони Серёге, он холостой теперь. Может, компания нужна.

Серёга разводился с драмой – бывшая забрала ноутбук, собрание сочинений Маяковского и двух кошек. «Тихо стало, как в склепе», – обронит в пустоту и уставится на череп за стеклянной дверцей книжного. Где взял – молчит, а череп костяной, настоящий. Надо Серёге кота, пока до греха не дошло.

Вернулись домой, муж не находит себе места. Серёга не может кота взять. Девчонка появилась, вот-вот съедутся, а у нее аллергия. Лёша в паблики городские написал, вдруг на-совсем заберет кто. Или потерялся, хозяева грустят, ищут. Я укладываться начала, завтра на работу рано. Родители тоже легли. Лёша на кухню ушел. Повернусь на один бок, на другой, маета. Ждать, когда сон придет, тревожно и скучно. Слышу, замок заскрипел, входная дверь хлопнула – проводить кота пошел, что ли. Минутка, и снова возня. Лёша открывает дверь спальни, не включая свет, плюхается в кресло. Тишина. Мурчание.

– Ты кота притащил, да?

– Ну не могу я его оставить, случится что, не выдержу.

– И как мы спать будем?

– Не знаю.

Встала с постели, подошла, обняла. И нелепо, и глупо, и

жалко. Кот мурчит, как электрический, о ноги потерся – соображает, подлизывается.

– Идите вдвоем на кухню, посмотришь за ним. Утром решим, что делать.

Так они с котом и просидели всю ночь. Под утро, как только запищал мамин будильник, шмыгнули назад в спальню.

– Я знаешь как его назвал? Баренцем!

– Кем-кем?

– Ну Баренц, море Баренцево знаешь?

А я знаю, что спать смертельно хочу, что он дурачок и что по мне ходят мягкие лапы. Пробурчала, отвернулась, кот в ногах улегся. Лёша нарезает круги по комнате, что-то несет про открытие Шпицбергена. Не выдерживаю, вскакиваю на час раньше, чем должна. Завтракаю, собираюсь. Перед уходом смотрю – отрубилась оба.

Январский туман что кисель, зевнешь на улице, полный рот наберешь. День вареный, пропащий. В веки хоть по леднику засовывай, не поможет. Работа закончилась, и спасибо. Возвращаюсь домой, валерьянкой на всю квартиру прет. Лёша с тряпкой волочитя, мать в комнате демонстративно заперлась.

– А кота куда дели?

– Отнес я его, – отводит глаза Лёша. – Он на руках у меня с ночи просидел, а тут твоя мать с работы. Рванул с перепугу и лужу ей прям под ноги. Она и говорить ничего не стала, только посмотрела так, ты знаешь.

– И ты его выбросить решил, как бы чего не вышло.

– Ну а что я сделать мог?

Лёша ведь здоровенный, плечистый, бородатый. А сейчас крошечный, размером с пятно от краски на линолеуме. Плечи ссохлись, вся вода будто из глаз вытекла.

– У меня чувство какое-то поганое. Будто не кота, а себя самого выгнал.

Помню, встретила его, сразу понравился. В компании дело было, отмечали что-то. Гляжу перед собой, в глазах метель поверх мути, напилась. А тут Лёша за плечо тронул, водички принес. Золотистый весь, нездешний какой-то, аж светится. Пять лет назад это было, три года как съехались, два как расписались. Сейчас смотрю на него – будто свет в доме потушили, а сами ушли. Все вынесли, только сквозняки ходят.

А главное – я ведь ничего не сделаю. Не растолкаешь, не растормошишь, если погасло. Не могу больше рядом находиться, а куда бежать, не знаю. Оделась быстро, выскочила. На улице морось в лицо, холодно, сыро, противно. Ресницы слипаются, как обсосанные. Дошла до парка, рухнула на скамейку под елью – под ней хоть чуть суше. Морось в снег обратилась, валит белым с неба, метет. Люди по домам спешат, в капюшоны кутаются, пакеты прут. Суета, а будто сквозь спячку. Так тошно стало, хоть душу вытрави. Что, пока работаю, Лёша дома сидит. Что страдает вечно – или ерундой, или от всего сердца. Что даже кота не можем завести, потому

что угла своего нет. Завыла долго, протяжно, чуть ли не по-собачьи. Замерзла как зараза, а представлю, что пойду домой как ни в чем не бывало, вою еще сильнее. Нельзя мне туда. Выплакалась и решила – не вернусь.

Всплыло в голове, что коллега однушку в центре сдает. Позвонила, мотнулась за ключами. Она уставилась на меня, конечно. Не спрашивает, и ладно. Села в автобус, выдохнула. Глянула на телефон – от отца пропущенный, от Лёши – тихо. Еду остановку, другую. В груди опять дрянь какая-то нарастает, цунами из отходов, смертельная волна нечистот. Что с ней делать, как унять? В одино – чувство еду, в пустоту. Как толкнуло меня что-то. Вышла на улицу, повернула к дому. Ничего перед собой не вижу.

Захожу в подъезд, а там кот в коробке. Потянулась к нему, понюхал, потерся. Взяла на руки, щурится, рад мне. Поднялась на пролет, смотрю на дверь квартиры – не моя больше. Постояла молча с минуту, потом кота за пазуху, и в такси. Сидит смирно, тепло дарит. За окном тянутся огоньки, хвост отступающих праздников. Квартира, может, и не моя, а кот мой.

На съемной есть все, кроме личного. Сбегала в супермаркет, пельменей сварила, поужинали с котом. Какой из него Баренц, он ведь домашний, ласковый. Марсиком будет или Персиком, как пойдет. Написала родителям, мать порывалась звонить, я не взяла. Стащила покрывало, разложила диван, легла. Кот рядом, успокоил, согрел.

Лёша еще две недели прожил у моих, ждал объяснений, сам не писал. После съехал непонятно куда. Решил, что я нашла себе кого-то. Серёга на Сахалин подрядился работать, его с собой позвал. Шпицберген в другой стороне вроде, но ничего, сойдет. Солью с океана веет, утром разлепишь глаза – и сразу герой, даже пальцем шевелить не надо. А нам с Марсиком и на юге неплохо. Подступает лето, солнце хоть ложкой ешь.

Астры

От Наташи остались пятна крови на стене душевой. Моя мама таращится на подтеки, посторонний мужик отводит глаза. Мама неловко закашливается и что-то щебечет про рыбу:

– Взяла живого карлика, разделявала, а он хвостом как зарядит. Простите, забыла убрать, – мученически улыбается.

Не похоже, конечно. Ни одной чешуйки кругом. Вглядитесь в пятно, дурни, – вот же полукруглое солнышко Наташиной ягодицы. Да она сама как солнышко, а я третий от Солнца, пригрелся, расцвел жизнью.

– Ах ты скотина такая! Специально, да?

Мама хочет продать квартиру и уехать в Москву. А я хочу трахаться с Наташей под голубыми южными небесами.

– Ты первый у нее, что ли? Что за резня в ванной!

Тру тряпкой багряный сгусток. Мама порхает вокруг со своими тупыми вопросами. Где там первый, мама! Ей девятнадцать, всюю универ.

– Наташа девочка. У них такое бывает.

– Ты ноготком поскреби лучше, Володя. На вот, порошок возьми. Унитаз помоешь заодно.

– Ну ма!

Но где там милосердию, не дрогнет материнское сердце, опозоренное, раненое. Это я еще сперму с подоконника вы-

тер, мама. Это я еще курить в квартире не разрешил. Вытащил москитную сетку, Наташа свесила ноги вниз и достала сигареты. Пятый этаж, асфальт.

– Если убьюсь, приходи дрочить ко мне на могилу. – И смех, и золото, и серебро.

– Трахаться разве что.

Взрослый табачный поцелуй. Я курить не могу, чуть затянешься, и весь вечер больное горло. А вот Наташу и с вонью изо рта люблю. И с двумя своими предшественниками – Тёмой красивым и Сёмой богатым. Где им до Владимира красноречивого. Зря пятерки из школы таскаю, что ли. Жаль, не по алгебре. Кем я только работать буду, мечтательный, гуманитарный. Поступать на следующий год, если не на бюджет, то в армию.

– Геем прикинься. – Наташа-советчица, оттиск красной помады на чуть кремовом резце.

– Сразу к вам на филологический заберут!

И мы, тщедушные, ржем, как жеребята в яблоках. Цок-цок копытцем, взмах хвостом, и Наташа скрывается в дверном проеме – сентябрь-октябрь, завтра семинар, латынь, абракадабра пер асперы ад астры. Ввернул потом фразу в школе, астры эти чуть в глотку не запихали. Терний много, конечно, зато и звезды сверкают, словно угли за пазухой.

Наученная опытом кровавой ванной мама отпрашивается с работы пораньше. Под гневным взглядом снимаю с себя кружевной Наташин лифчик.

– Не стыдно тебе?

Стыдно, конечно. И глупо. Смотрите, покупатели, тут плохо с воспитанием, дрянной душок все стены протянул. И детей ваших убаюкает, заморочит. В воскресенье мама ушла на весь день к бабушке. Мы с Наташей красили стены в черный в моей комнате, а на самом деле гостиной, в которой я сплю. С чувством, будто подношу к виску револьвер, впечатываю валик в стенку. А дальше танец.

– Как Джексон?

– Как Джексон. Поллок.

Вечером прогремело страшное – ко мне больше нельзя. Багровая, как борщ, мама прячет лицо в ладонях.

– Кобыла, а ведет себя как трехлетка!

Какая ж она кобыла, я даже выше на пару сантиметров. Ночью снилось – мы с Наташей пришиты друг к другу живо. Опускаю шею и гляжу на свой распаханный живот – красными нитками в недра брюха вшиты две какие-то склизкие трубочки. Фаллопиевы, может, из учебника биологии. Отвожу взгляд на вспоротую, сломанно-кукольную Наташу. Она слабо улыбается с пола. У нас любовь.

Наташина соседка по комнате тоже Наташа, но, конечно, не такая красивая. Наши четные, ее нечетные – разделяем пространство дроблением времени. Нечетные дни набиты канителью парков и чехардой лавочек – сентябрь-октябрь щедр, плюс двадцать без дождя. Развлечения разнообразны – плевать с моста, подставлять лица солнцу, болтать о само-

убийцах – только зевни, и вот летят вниз, кто в реку, а кто на асфальт набережной. Четные дни наши – в Наташиной комнате, сцепившись длинными тонкими ногами в неразрывный узел.

Шатким, сомнамбулическим вывертом реальности, без слов и договоренностей, странный мой сон о пришитых трубах опрокинулся в явь. Сначала Наташа просто привязала свое запястье к моему дерматиновым ремешком, надо было играть, что мы один человек – ее рука правая, моя левая. Она веселилась, пока мы не приложили об пол литровую банку меда – липко, стеклянно, жалко, требует немедленной уборки. В другой день она всадила мне в лоб оранжевый кончик окурка. Я рассвирепел, она сказала, мол, теперь моя должница и я могу делать с ней все, что захочу. Ушел, четный провели порознь, в новый нечетный намотал ее длинные выкрашенные в черный волосы на кулак и чиркнул ножом. Кривого каре мало – собрал пучок у левого виска, чикнул и там. Наташа скривилась, будто стала на сорок лет старше в секунду, поморгала, глубоко вдохнула и улыбнулась. Мне стало невыносимо, в глазах защипало, в носоглотке засвербило.

– Снявши голову, по волосам не плачут, – хохотнула Наташа.

Черный, жестковатый, блестящий хвостик я сохранил в алой оберточной бумаге в ящике письменного стола. Обычный вечер – сырно-желтый световой круг над исписанными дырками конспектов, я, как мышь-переросток, выгрызаю в

тетрадке очередные пустоты. Свет над письменным столом идет рябью, морщится, как море, как море темных волосков на худой Наташиной руке. Заскучав над уроками, заскучав по Наташе – от нежного «пока, Володя» до момента, который трепещет над моей макушкой прямо сейчас, прошло долгих три часа. Ждать новой встречи все бесконечные девятнадцать. С дурной смесью тоски, нежности и какого-то неназванного, липучего чувства достаю Наташин хвостик, кручу в руках, зажимаю между верхней губой и носом на манер исполинских усов, выпрямляю спину, неотрывно гляжу в черную стену. В таком виде и застает меня мама, сообщает, что я идиот и не поступлю и что все это мерзко, мерзко. Вот была же у тебя Валя год назад, держались за ручки, играла на пианино, такая хорошая девочка, весь двор ее по очереди, по очереди, где очередь, там и порядок. А Наташа эта какой-то кошмар, такая взрослая, дурит школьника, мальчика, зайчика Володю.

– Владимир – это волчье имя, – отвечаю непроницаемо.

Мама глотает последнюю фразу, качает головой и уходит. Я прохожусь пальцами по гладкой черноте Наташиного хвостика, заворачиваю в бумагу, прячу в стол. Прохладноватая постель, неудобоваримое ребро раскладного дивана – обычно не чувствую, а сегодня – да. Ворочаюсь, руку то так, то эдак, колено, плечо – сложиться бы сейчас в плоский прямоугольник конверта, разукраситься маркой и улететь авиапочтой к далекому и страшному океану. Не вынес, вскочил,

снял со шкафа плюшевого медведя, лег, обнял мягкую спину, представил, что это Наташа, уснул.

Утром наступил нечетный. Школьная тягомотина – зеваю на третьей парте широко, как лев в саванне. Отдавленная нога на водопое, звон в голове от прилетевшего в голову мяча, фиаско у доски, плывущая, грациозная птичья двойка на расчерченной решетке дневника. Мрачноватым предчувствиям нет места, освобождаюсь в час, гребу ногами по листьям, шелест, хруст, желтизна, свежо и сладко. Наташа вернется в три, последние минут пятнадцать сижу под дверью, вытянув ноги, задницу примостив на учебник по алгебре. Не знаю, что с собой делать. Пока никто не слышит, шиплю ее именем себе под нос, растворяясь в прибое великолепного «ш». Она появляется в конце коридора веселая и злая, обритая наголо, проскальзывает карточную колоду дверей, тычет мне в голень носком невозможного берца на платформе, возится с замками, я вожусь со шнурками на ее берцах, стаскиваю с силой, гляжу на нее – лысина ей к лицу, череп хорош, крепление к шее изящно. Наташа говорит, что так дальше нельзя. Отворачиваюсь к кухонной тумбе, открываю ящик стола, достаю бывалый кухонный нож, вдыхаю, выдыхаю, всаживаю себе в глаз. Зеркало бьется, картинку кривит, дальше тьма.

В офтальмологии таких было много – ожоги, аварии, переломы глазницы. По старинной русской традиции врал соседям по палате, что упал на ножичек. Все казалось, что, ес-

ли скажу правду, убьют. Вот тот особенно, которому в драке вынесли оба. Печальный корпус бравых пиратов, шитье, обезбол, кому-то принесли водку, карты. Говорят, моя мама ничего, о-го-го, телефончик дай. Отвечаю, что занята. Прости, мама.

Когда наконец появляется Наташа, я плачу одним глазом, а она двумя.

Год спустя на месте дыры зарос кожаный овражек. Я ношу его под черной латкой, выглядит недурно. В хлопотах обо мне мать забыла про переезд, в армии я не нужен, да и на филологический все-таки взяли, тут я франт, оригинальная личность. На переменах, у всех на виду Наташа снимает мою повязку. Исследует кратер языком под вздохи и звуки проглоченной тошноты вокруг. Весь факультет только и болтает, какие мы с ней уроды. Как-то я притаскиваю букетик астр, она отламывает головку цветка и вставляет на место моего левого глаза. Я звезда, живу громко и свято, и Наташа хохочет, сложив на меня длинные ноги.

Коробка

Вещи любимых захватывают дом, чтобы ты потом маялся в попытках вернуть пространство себе. Книжки, подсвечники, глупые рамочки с фото – от этих свидетелей нужно избавиться как можно быстрее, свалить в черный гроб коробки, убрать с глаз долой, как убирают все мертвое. Какое-то время еще поторгуешься, славные же безделицы, куда без них. Пока однажды ночью не откроешь глаза и не заорешь в ужасе.

На груди, как жаба, уселся плюшевый кот, подаренный в первую годовщину. В ногах – черный силуэт со знакомым вихром на затылке, кружатся в танце билетика и билеты, кино, путешествия, концерты. В воздухе едва различимым укором свистит та самая песня. Призраки былой любви тянут к твоей шее руки, хватай ртом воздух, кричи громче, зови экзорциста. Он не придет, и когда ты это поймешь, сможешь изгнать призраков сам.

С Юрой мы расстались устало и буднично, можно даже сказать, по-дружески. Сил на разборки и вопли уже не было, захлопнулась дверь, я поскулила, поскулила еще и как ни в чем не бывало пошла в спортзал. Страшное случилось позже. Я нашла пустой блокнот с красивой обложкой. Буйный ветер нес гордый старинный корабль сквозь шторм, пылали брызги, вскипали небеса. Снаружи белел одинокий па-

рус, внутри была дарственная надпись. Круглый наивный почерк сказал, что это записная книжка для великих исключительных мыслей, которые приходят в великую исключительную Юрину голову. Корабль идет сквозь невзгоды, и Юра, несломленный и героический, движется вперед. И волны рукоплещут ему, и облака заходятся в надсадном крике, трепещут, смиряются. А владелица почерка твоя навеки, Юрочка. Она всегда будет рядом, дорогой, милый, любимый Юрочка, ну как так можно тебя повстречать, ты правда, что ли, бываешь, Юра? Как за это благодарить, кого? В неоплатном долгу перед бытием блокнот подарила Юре какая-то неизвестная дура. И Юра просто оставил его у бывшей жены, чтоб долг оплатила она, я.

Вот это я орала. Швырнула блокнот в стену с такой силой, что отлетел корешок, корабль беспомощно шмякнулся о рифы. Сметала в ярости Юрино барахло с полок, не забрал и не заберешь теперь. Расколошматила об пол его чайную кружку размером с бульонницу, рассекла руку, баюкала ее и выла, среди разрушения и упадка. Потрошила шкаф: «А, зимние ботинки, ну, купишь новые». Носки все перепутаны, мои, его, и не нужны мне теперь носки. Сгребла все добро в коробку, да какое добро, все зло сгребла. Убрала на балкон, а дальше нужно было что-то решать.

Если поставить коробку рядом с мусорным баком, следующим утром увидишь щеголеватого бомжа в знакомом рыжем свитере, схватишься за сердце, день впустую промаешь-

ся. Нужно зелье позлее. Зарыть коробку на кладбище смешно и приятно, вот только косоглазая порча непременно упадет мимо, и каяться будет поздно. Топить коробку в реке как-то глупо, нужно что-то еще, еще.

Перебирала варианты с неделю, а затем меня осенило. Я отправилась на родину предков в вонючем автобусе, полном местного суржика. Коробку поставила в багаж, тетка в платочке уместила сверху рассаду, теткин мужик бранился.

– Замуровала цветы в кунсткамеру! Немчура ты, Любка.

Ехать часов шесть, дорога нудила все восемь, строили мост, про объезд забыли, рассада завяла. Задница онемела, тетка с мужиком препирались, мимо плыли луга с коровами, за поворотом дымчатое предгорье, юный Кавказский хребет, всего лишь рядки холмов, зеленые валики на теле равнины.

Наконец в райцентре. Автобус приехал, а я еще нет. Вышла на автостанции вместе со всеми, спросила, где тормозит маршрутка, села на лавку. Кунсткамера – это, наверное, газовая камера, а я забыла коробку в газовой камере, выходит. Черт! Автобус отъезжал, я махала руками как ненормальная, водитель притормозил, вопросительно шокнул, открыл багаж. Я забрала коробку, забралась в маршрутку, в беготне проворонила очередь, места не было. Ехала согнувшись вдвое, лихими поворотами меня мотало, и я села на корточки. Так можно смотреть в окно. Солнечным утром, если глядеть прямо перед собой, видно жемчужную кромку Эльбруса. Сейчас, конечно, не видно, гору сжевало небо.

Станица – это там, где стоят, и вот маршрутка стоит. Я несу перед собой коробку, на спине рюкзак, других вещей нет. Мне не тяжело, но руки затекают от неудобства. Воздух вокруг похож на облако, сырой и белый, временами входишь в полосу тумана, выныриваешь на поверхность, снова уходишь с головой в прохладный пар. Должно быть, так же тихо за бортом самолета на высоте, и это райское соседство с облаками, подняться чуть выше, и будет солнце. Станица – такое же междумирье, как воздушная трасса. Случайная птица в турбине, вздох, взрыв. Анет, просто петух хрипит, протяжно, раскатисто.

Часть домов брошены. Через мертвое всегда прорастает жизнь, и пустые глаза оконных проемов светятся зеленью, как когда-то горели электричеством. В других домах остались старики, и их срок подойдет в ближайший десяток лет. Иные засели на воротах меж мирами и поглядывают, когда же позволят войти, редкие в ужасе отворачиваются, липнут к жизни, как улитка к виноградной лозе. Бежать сил уже нет, хоть и хочется, и вот они липнут.

Бабушка ждет на скамейке одна, кого она ждет, ну, конечно, меня. Меня не было пару лет, я почти не звоню, не знаю, что говорить. Мать хочет перевезти бабушку к нам поближе, бабушка хочет умереть там, где жила и рожала. Я обнимаю ее, она спрашивает:

– Ну шо, исть буш с дороги?

Картошка разваристая, желтая, сметана домашняя, пусть

и куплена у соседки – куда теперь корову? Укроп свой, душистый, мелко порублен сверху. Двадцать пять лет назад в доме было людно, дед, тетя, двоюродный брат. Первым не стало брата, умирать – дело молодое. Вскоре дед заболел и тоже умер, может, оттого, что он всегда был молод душой. После горя тетя третий раз вышла замуж и переехала. Бабушка смотрит, как я ем, и будто бы тоже жует.

Дом изнутри словно синий, хотя стены побелены. Что-то в нем есть подводное, затопило когда-то давно, так и осталось. На подлокотнике старого кресла все та же царапина, за которую как-то попало брату. Ящик серванта, которым я в детстве пребольно получила в лоб, прячет в себе все те же ложки и вилки. Сквозь тюлевые занавески скрипит корягами все та же старая яблоня. И только сплетник настенный календарь выбалтывает ход времени.

Я росла в этом доме до шести лет, до подготовительного курса в школу. Мать устраивалась в городе, ее устраивало. Спала я в теткиной комнате, она называлась зал, хотя как зал ее при мне не использовали ни разу. Дед и бабушка спали в проходной, так что единственная настоящая спальня досталась брату-подростку. Это была комната прабабки, умершей в год моего рождения. Может, меня прям в день ее смерти и зачали, бытие закатало рукава и споро подлатало дыру в семействе. Сон ли, явь ли, но я ее помню, склонившуюся над моей кроваткой старуху в платке. Тянешь ручонку, вместо нежной ветхости кожи хватаешь воздух, не понимаешь, как

так вышло, орешь.

В детстве, до переезда в город, мне снился сон. Протяжно скрипнет дверь братовой спальни, стукнет клюка о дощатый пол, тяжело шоркнет непослушная ступня. В дверном проеме появляется сгорбленная старуха. Она проходит сквозь дом, движется пунктиром – точка клюки, за ней волочится тире шагов. Отворяется дверь, старуха выходит во двор и все так же мучительно медленно ковыляет вперед, сквозь безмолвную черную южную ночь. Исчезает старуха за дверью маленького дощатого домика, там выгребная яма, сортир. Странны дела призраков.

Как-то я рассказала брату про сон, он, худой рыжий мальчик, только и выпучил глаза:

– Вот куда она по ночам ходя!

После таких откровений я еще долго не могла спать, вертелась, проклинала неудобные складки, пока тетя не выдавала строгое «цыц», приказывая тем самым лежать смирно. В неподвижности я быстро проваливалась в полудрему. Налитое, тяжелое тело, и легкая-легкая голова с быстрыми мыслями, и вот она, голова эта, уже наяву, без извинительной оболочки сна, слышала, как прабабка выходит из спальни. Спать следующей ночью было решительно невозможно, и потом, и потом тоже, а там уж и мать забрала меня в город.

Сегодняшний вечер проходит тихо и быстро, бабушка суетится, я в доме, значит, нужен какой-то другой порядок, полотенце, простынь, варенье к чаю.

– Юрку-то чиво выгнала?

Неизбежный вопрос, мои путанные объяснения, не пил, не бил, так, не сошлись просто.

– По бабам, што ль?

– Ну да.

Бабушка только рукой махнула.

– А у Томки первый пил и бил, второй просто пил. Третий закодировался, живут добре.

Брачная биография тети все-таки увенчалась успехом. Но мне-то что. Призванный из небытия вопросом бабушки Юра пишет, что хотел бы забрать вещи в выходные. Я отвечаю, что забирать больше нечего. Юра не может понять, как это. Я отправляю фото дарственной надписи на блокноте с корабликом. Юра молчит минут пять, потом присылает длинное объяснение, что это просто подарок коллеги, он и не ожидал, и ничего такого не было, правда-правда, честно-честно. Я пишу, что, конечно, ничего такого, и с Надей ничего такого, и с Верой. Юра говорит, что я истеричка, а ему нужны зимние ботинки, это ведь хорошие ботинки, фирменные, он всего сезон отходил. Резюмируя беседу, сообщаю Юре, что он мало того что изменщик, так еще и жлоб. Юра называет меня стареющей доской, бревном, тварью, тупой тварью называет меня Юра. В этот момент мне хочется закричать, я бью кулаком по своему бедру, это больно, возможно, будет синяк.

Бабушка ложится спать в девять тридцать, сразу после

программы «Время». В крошечной тишине деревни поскрипывают пружины матраса, на один бок, на другой, сочный стариковский храп. Юра замолчал с полчаса назад и вот вернулся для финального хлопка дверью: «Хвала Господу, отвел, не венчались мы с тобой». Так, значит, о Боге запел, Юрочка. Рубаха-парень, улыбочка до ушей, сердечнее такого только слезы на похоронах. Чтоб тебя. Я гляжу на коробку с отвращением, осталось недолго, скоро будет чище, светлее.

Щелкнула выключателем, и стало темно, огней на улице нет, напротив никто много лет не живет. Тело устало с дороги, лежишь неподвижно, а будто едешь, и белые полосы разметки перед глазами, дальше, дальше, до горизонта. Так и въехала я напрямик в утро, сон отступил, свет пришел.

На кухне бабушка приладила мясорубку, советский агрегат, металл толщиной с мизинец. Тяжелая дурища, получи такой удар в висок, и прощайся. Мясорубка прикручивается к столу для надежности, да что там к столу, ее бы в землицу прикопать, чтоб навERNЯКА. Бабушка всплеснула руками, что-то забыла, спешно ушла. В комнате появился Юра, вот же, разыскал, мы бывали тут вместе лишь один раз и давно. Юра мясистый и крепкий, все шутил, что его грудь больше моей, не знаю, в чем тут его гордость. Сейчас он стоит на маленькой, залитой солнцем кухне, майский ветер треплет тюлевую занавеску на окне, и это легкое трепыхание – единственный звук, который нас окружает.

Я молчу. Юра расстегивает ширинку и приспускает брю-

ки. Подходит к столу и опускает член в горлышко мясорубки.

– Если ты мне не веришь, поверни ручку.

И я повернула. И еще. И еще раз. Винт тут же потащил Юрин член к лезвиям, брызнул крик, красной влагой намочила решетка, привычная к фаршу. Юра упал, на него с грохотом опрокинулся тяжелый деревянный стол, всюду мазала кровь. Вытарашенные глазища, да какого они цвета, никогда не угадаешь, сейчас голубая каемка по периметру блюдца-зрачка. Кривой от крика рот. «Тише, тише, это скоро закончится», – поцеловала я Юрин лоб в холодном поту.

Бабушка вошла в комнату с лопатой, на вот, будешь копать. Будто всегда знала, что я кого-нибудь убью в ее доме, ни испуга, ни шока, ничего. Солнце на огороде жарило, ладони от лопаты горели, земля пахла сыто и пряно, черпай горстями и ешь. И над всем этим небо поразительной горной синевы, с таким небом хочется жить, под ним даже могилу копать хорошо. Вдыхай это небо, выдыхай все, что болит.

И стыдно было проснуться, чтобы увидеть реальность в мягкой дождевой растушевке, серую, смазанную, скучную. И Юра не приехал, мясорубка пылится на дальней полке, дождь тарабанит по крыше. Я подумала, что все еще люблю Юру, но это совсем скоро пройдет, и тогда станет легче. Как-то должен открываться этот ларчик, его крышка уже поддается.

Городское время устроено так, что настоящее – лишь точка, которую нужно перемахнуть, чтоб очутиться в сверхно-

вом, лучшем времени – будущем. Всем известно: будущего нет, поэтому время в городе становится крошечным и сжатым, будто повторяющийся прыжок в пустоту. В деревне настоящее позволяет себе роскошь длиться, но то и дело оступается и проваливается в прошлое. В деревне настоящее хромоногое, но хотя бы существует. У меня нет других дел, и я наблюдаю, как бабушка жарит блины, я живу в настоящем. Отсутствие небесного солнышка заменяет присутствие маленького, сковородкового.

С уборкой я решаю помочь. Лазить по шкафам бабушка мне строго запрещает, драгоценный хлам должен покоиться на своих местах. Но поверхности все мои, и я тру тряпкой везде, где только могу достать. На старом платяном шкафу меня поджидает розовый косматый зверь, кто-то из медвежьих. Говорят, я испугалась, когда мне его подарили, рыдала, тыкала пальцем, выдавала неумелое рычание, звук «р» мне долго не давался, так что то рычание было лыком шито. После он мне даже нравился, хотя имя к нему так и не прицепилось. Таскала его за собой, укладывала рядом спать. Я заставила себя его любить, потому что он нелепый, жалкий, и я так жестоко его прежде отвергла. Но в город все равно не забрала. Всем сказала, что возьму, когда спрашивали после, врала, что забыла. Оставила зверя в деревне, и он тут пылился годами, пока в доме умирали. Черные глянцевые глазки видели все, и в них темнота. Да в них всегда была темнота, и правильно я боялась, детский инстинкт сработал

безотказно. Держать его в руках я брезгую, запихивать назад как-то неправильно. Колючий розовый уродец ждет вердикта, пока я стою на табурете в замешательстве. Решение приходит стихийно. Спрыгиваю на пол, достаю из-под стола коробку, если утрамбовать вещи, зверь еще влезет. Получилось.

Так и шел день, пока не наступила ночь. Бессмертная ведущая оттарабанила новости, бабушка заглушила голубой экран, повертелась с боку на бок, зашлась храпом. Лежа в постели, я смотрела в темноту и не заметила, как глаза закрылись, нет разницы: что так, что так черно. И только знакомый скрип двери разбудил меня, тот же волок шагов, тот же стук клюки.

Лежать и слушать было не в состоянии, и я медленно встала и покралась вслед. Платочек белый, халат голубой. Не оборачивается, идет целеустремленно, технично, рвется из дома, как может, маленькая горбатая призрачная прабабка. На порогах чуть мешкает, скользковаты. Она здесь упала за год до кончины, сломала бедро, как бывает у стариков. Теперь умелая, переносит вес с ноги на ногу, да какой вес, господи, она ж насквозь прозрачная. Чуть дзыкает уличный ручной мойник, шелестит ветер в яблонях, гуляет сквозь прабабку, запинаясь об меня. Мощный порыв разворачивает ее, лицо как в складках ткани, будто простынь, которой в гробу накрыли, приросла, и теперь все одно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.